

НАТАЛЬЯ ЕГОРОВА

ЗОЛОТОЙ САМОРОДОК НА СОБОЛИНОЙ ТРОПЕ

(К 75-летию со дня рождения Светланы Кузнецовой)

Наследница двух богатых сибирских купеческих и дворянских родов России – рода Кузнецовых и рода Амосовых, в истории русской поэзии второй половины XX века Светлана Кузнецова стоит особняком. Трагическая фигура в чёрном с гордо поднятой головой и несломленной статью последней представительницы вытравленных революцией золотопромышленников. Всех, знавших её, Светлана Кузнецова поражала человеческой значительностью, особой сибирской негибимой породой, гордостью, простотой и цельностью натуры, удивительной неслучайностью и необычностью судьбы, – словно бы специально задуманной Богом для большого русского поэта... В последние два десятилетия жизни она не печаталась ни в литературных газетах, ни в толстых литературных журналах. Только редкие книги в “Советском писателе” нарушали сомкнувшееся сибирскими снегами безмолвие. Незадолго до её смерти Юрий Кузнецов со свойственными ему прямоотой и честностью нарушил затянувшееся молчание и в статье, написанной специально для “Литературной газеты”, поставил Светлану Кузнецову в один ряд с Цветаевой и Ахматовой. После смерти С. Кузнецовой о значении её творчества написал Вадим Кожин: “Со всей взвешенностью и ответственностью скажу, что лучшие из зрелых стихотворений Светланы Кузнецовой – самое значительное из того, что было создано в русской женской поэзии после Анны Ахматовой... в отличие от подавляющего большинства твердящих сегодня о мраке и хаосе стихотворцев, у Светланы Кузнецовой и в помине нет характернейшего мотива: вот, мол, в какой проклятой Богом стране приходится мне жить и мыслить! Светлана Кузнецова... не отделяет от себя совершившееся и совершающееся...” (“День”, № 23, 1991 г.). Судьба виделась поэту оброненным в сугробы тяжёлым наследственным золотым крестом первопроходцев и золотодобытчиков, Россия – золотым самородком, сверкающим на белом снегу атомной страны.

*А вы торопились, а вы не спросили,
А вы посчитали всё это игрой.
А там начинались стихи о России,
За тем перелеском, за тою горой.
Там время чеканило высшие пробы
На всём, что в отвал уходило пустой,
И там я однажды сронила в сугробы
Тяжёлый наследственный крест золотой.
Сронила открыто, сронила, как откуп,
Приучена опытом предков — платить.
Так что же неймётся небесному оку?
Оплачен мой счёт, и не стоит грустить.*

Родители Светланы Кузнецовой познакомились во время Гражданской войны. Отец воевал у белых, в армии Колчака. Был ранен. Мать – работала сестрой милосердия в госпитале, тоже у белых. Отец полюбил мать с первого взгляда и больше на других женщин не смотрел. Светлана Кузнецова появилась на свет в Иркутске 14 апреля 1934 года, была вторым ребёнком в семье. Родители, вышедшие из известных золотопромышленных родов, купеческого Кузнецовых и дворянского Амосовых, успели получить хорошее образование, мать окончила гимназию, отец – Петербургский университет. Первые годы после Гражданской войны преподавали в Иркутском университете. Около 1937 года из-за усилившихся репрессий из Иркутска пришлось уехать – “бывшим” в связи с новым поворотом в политике грозил арест. Уцелеть семья могла лишь одним способом – родители должны были сами, добровольно, сослать себя в сибирскую глушь: в селениях, переполненных ссыльными, судьба вольнопоселенцев никого не интересовала...

Так Светлане Кузнецовой распахнулась главная страница её жизни – глубинка заповедной, кондовой русской Сибири с безбрежной медвежьей тайгой, золотыми недрами и великими реками, несущими к океану косяки рыб. “Бесконечная Россия, / Словно вечность на земле”, – нашёл когда-то князь Вяземский актуальное на все века определение для отечества. “Земная вечность” Сибири загудела в венах молодого поэта с необоримой мощью:

*И снова на рифме “шири”
Распахивается строка.
Два соболя — герб Сибири —
Смотрят издалика.
Я верю: мой мир устроен.
Я знаю: мне жизнь нужна.
Отец мой — красив и строен,
А мама моя нежна.*

Светлана Кузнецова с юным задором приветствует необозримые заснеженные пространства, делает законы тайги законами собственной души: “Смеюсь и падаю на белые, / На очень белые снега. / Всему, что делаю и сделаю, / Я говорю: “Закон – тайга!” (1962 г.) Это больше, чем кровное родство – Светлана Кузнецова впускает в сердце огромный мир – и сама становится миром... Родная Лена – течёт в венах поэта: “К Ледовитому океану Лена в венах моих течёт”. Огромные пространства становятся поэтической плотью: “Зачерпну крутой волны Витима, Енисеем жажду утолю...” Молодая Кузнецова пантеистична. Грани между личностью и природой в стихах нет – строчки стихов заполняют грустноглазые олени, пушистые белки, юркие соболя. Символ Сибири – соболь – неожиданно становится символом молодой безоглядной любви: “В золотом запеве крови / Мне не сладить с этой болью, / У тебя не только брови, / У тебя глаза соболя”... Соболиная тропа Сибири бежит мимо многих племен и народов: “Над Витимом угрюмым, над таёжною далью / Встали русские думы / Моей бабушки Дарьи... / Золотистые лица, / Солнца сонного сгустки... / Это в вены стучится / Кровь Анисьи, тунгуски. / И уводит надолго / Вечно новая новь, / Кровь поляка седого / И татарская кровь”. Сознание великоросса, вбирающего в себя крови народов, населяющих Россию, подобно течению великих сибирских рек, вбирающих многочисленные притоки и ручьи. Впитавшая в вены кровь народов и рек, С. Кузнецова чувствует в своих жилах невиданные силы: “Я сама, как держава, я сурова, сильна и строга”. Перед нами прямое поэтическое свидетельство, – **так рождается великоросс...**

В том далёком детстве, на пути из Иркутска, она запомнила не то пароход, не то буксир, палуба которого качалась над серыми волнами огромной северной реки. Они всё ехали и ехали куда-то. “Хватит ехать! Хватит ехать! Хватит ехать!” – лепетали детские губы, словно знали тайный смысл невесёлого путешествия.

Семья пыталась уцелеть, постоянно меняла места жительства – Витим, Лена, Киренск, Бодайбо, Нерпо. Старожилы ещё помнили их богатых дедов и прадедов – потомков волею судьбы гноили там же, где посетила предков

шальная золотая удача. Спасало понимание того, что дальше Сибири не сошлют: *“И в Сибирь нелепо сибирячку / Выслать, коль здесь не ко двору...”* Места вокруг простирались глухие, особенно Нерпо – посёлок для семей репрессированных. То пьяный якут прирежет жёнку за неосторожно сказанное слово, то беглые зеки разорят заимку, то соседи-охотники уйдут в тайгу и не вернуться.

*Согласно молодой молве,
Мы вроде не были, хоть были.
Давно в холодном зимовье
Нас вырезали и забыли.*

Посёлок стоял посреди тайги, короткие зимние дни сменялись тёмными, холодными и голодными вечерами. Родители поселились в старом кондовом сибирском доме, ненадёжно заметенном от века огромными снегами: *“Дом родной окружён заплотом, / Доски метра в три высотой”*. Жили скудно. К существованию в условиях тайги приспособлены не были. Отец работал директором школы, мама – учительницей. *“Окраина, старая рана, / Зарубка, от-метина, шрам, / Охрана, встающая рано, / Осколки растоптанных драм...”*. Детские впечатления голода, скудости и нищеты врезались в память навсегда. Чуть ли не в дошкольном возрасте в первый раз сварила суп, примерно тогда же развела огород: что-то ведь надо было делать с не приспособленными к жизни в таёжной глуши родителями. Став постарше, они с братом научились и рыбачить, и охотиться, а тогда в Светлане только просыпалась её родовая “добычливость”:

*Так-то вот, не поздно и не рано,
Только всё равно не в час, не в срок
Девочка сибирская Светлана
Встала на бревенчатый порог.*

.....
*Так-то вот, не бледно и не ало,
Неприметно губы расцвели.
Было это много или мало
Для моей прадедовской земли?
Видно, мало, потому что много
Вырастало у нее таких,
Начинавших срок пути земного
С перепутьев узких и глухих.*

Стихи начала писать в девять лет. Что интересно – в истории русской поэзии Светлана оказалась не первой поэтессой с фамилией Кузнецова: в восемнадцатом веке творила её предшественница – Прасковья Ивановна Кузнецова-Горбунова, крепостная актриса, а потом жена графа Н. П. Шереметьева, известная как автор народной песни “Вечор поздно из лесочку я коров домой гнала...”.

О трагедии разрушенного революцией рода – намёком, эзоповым языком – Кузнецова говорит в стихах постоянно. Золотоносные “корни”, доставшиеся от дедов, – диктуют, вмешиваются в судьбу: *“А у меня такие корни, / Что я устала от корней”*. “Корни” – это мужество, честь, совесть, любовь, невозможность поступиться внутренним стержнем, пойти на поводу у обстоятельств, сам талант, на который по щепоти золотого песка сбросились народ и рода: *“А ведь я из семьи золотоискателей, / Я из очень хорошей семьи”*, – задумывается поэтесса в стихотворении 1965 года: *“Я из той семьи, которой давалось / Всё на свете с большим трудом. / Пароходы и прииски. Сёла и пристани...”* Но где те прииски и где те пароходы, где родня, унесённая великой вьюгой революции? “Нет родни моей, вымерла, не осилив эпохи”. Да и как осилить эту бесконечную сибирскую вьюгу времён? *“Ах, родные мои, / Как вы жили, / Если три революции были, / Если столько лет с голодовками, / Если столько зим с холодовками!”* (1966 г.) Что интересно, “бывшие”, обездоленные веком родители живут в этом стихотворении общей со страной жизнью, терпением и любовью преодолевают беду и выходят побе-

дителями из схватки с судьбой: “Да ещё забота родительская, / Да ещё работа учительская, / Да болезни большой страны / От войны до другой войны”. Вслед за родней Кузнецова “бывшей” быть, по сути, отказалась — она выбрала для себя вечную Россию, а вместе с ней — вечное бытие и вечное настоящее. Мгновенно почувствовав за безыскусностью молодых строк близость, важность и выстраданность темы, именно это стихотворение молодого поэта напечатал в “Новом мире” Александр Трифонович Твардовский...

...А что за экзотические воспоминания о золоте остались у представительницы золотопромышленных родов! Однажды на берегу Лены Светлана нашла огромный самородок. Обрадовалась неслыханной детской добыче, ликуя и хвастаясь, побежала домой. “Что ты наделала!” — всплеснула руками мать, увидев в детских руках запретный металл. По закону того времени любой найденный самородок надлежало сдать государству в тот же день. Комендатура находилась в соседнем посёлке, добирались до него два часа по тайге. Золотой самородок солнца катился к закату, на тайгу надвигался комендантский час... Ситуация складывалась безвыходная: не сдашь самородок — посадят за сокрытие принадлежащего государству золота, отправишься по глухой ночной тайге в комендатуру — посадят за нарушение комендантского часа... Всю дорогу по тайге мать бежала бегом...

В этой были, схороненной в предвоенные годы под сибирским снегом, скрывалась неумолимая логика судьбы большого русского поэта Светланы Александровны Кузнецовой. Золотые самородки сердца, золото удачи, таланта и красоты таили в себе угрозу гибели и расплаты. То, что столетиями приносило радость и богатство предкам, в новом времени оборачивалось бедой. Быль о грозящем погибелью золотом самородке по-кузнецовски жёсткими, предельно афористичными строками вспыхнула в стихотворении, посвящённом смерти матери: “Мать моя лежала на столе / Тихо, словно золото в земле. / Тихо, словно золото, лежала, / Мне и брату не принадлежала. / Не принадлежала никому, / И была счастливой потому” / (1976 г.) Эти строчки — похожи на приговор, вынесенный роду свыше. Золото, неосмотрительно добытое предками из сибирских недр, во искупление родовой вины должно вернуться в землю...

Страшная трагедия обрушилась на семью Кузнецовых в конце войны. Брат — надежда семьи, вечный спутник детских забав Светланы, вспоминаемый в стихах до конца дней: “Мой среброглазый! Певучие струны / Тянут сквозь годы утрат / Снова туда, где мучительно юны / Мы, то есть я и мой брат...” — ушёл на фронт в семнадцать лет. Вскормленный тайгой, воевал в знаменитых Сибирских полках, отстоявших Москву. С фронта пришёл абсолютно спившимся... Брат Светланы Кузнецовой — герой одного из её самых значительных стихотворений — трагического стихотворения о солдатах, вернувшихся с войны, но не нашедших счастливой доли на отвоёванной у фашистов родине, о многих и многих воинах, побеждённых ложью, безвременьем и лихоимством мирной жизни:

*Братишка, красавец, залетка,
Все мысли твои об одном:
О том, как красива пилотка
Над чистым мальчишеским лбом.
О том, как начищена лихо
Твоя боевая медаль;
О том, что отхлынуло лихо,
Открылась в сиянии даль.
...А дальше — все дали закрыты,
Всё мимо на милой Руси,
И рядом все те, кто зарыты,
И милости ты не проси.*

Вместе с ощущением бесконечного исторического тупика, недоли у поэта возникает чувство неизбежной вины перед погибшими солдатами: убитые на войне всегда делают оставшихся в живых виноватыми в самой продолжающейся жизни... Чувство это сродни вспыхнувшему в знаменитом стихотво-

рении А. Т. Твардовского “Я знаю, никакой моей вины...” Великая война у поэтессы оборачивается великой виной, великая Победа – будущим великим поражением... “Над нами Большая Медведица” – одна из больших поэтических удач, стихотворение, поднимающееся до уровня классики:

*Над нами — Большая Медведица.
За нами — Большое неведение.
За нами — большая война.
Пусть вам и в бреду не придется
Такое большое наследие,
Такая большая вина.
Хотя мы уже убываем,
На что-то ещё уповаем,
Наследство вручая сынам.
И кажется — всё забываем,
Но двери плотней запираем,
Чтоб счёт предъявили не нам.*

После смерти отца семья переехала в Иркутск. Уже оттуда Кузнецова послала рукопись первой книжки в Москву, в издательство “Молодая гвардия” и неожиданно получила восторженную рецензию Александра Прокофьева. Муза быстро преобразила судьбу, неожиданно выкликнула сибирскую “Золушку” на столичный золотой бал. Через недолгое время сибирскую поэтессу вызвали в Москву – на Всесоюзное совещание молодых писателей, приняли в Союз писателей СССР, рекомендовали в Литературный институт им. А. М. Горького – на ВЛК.

... В те годы С. Кузнецовой повезло – ей удалось войти в громкую плеяду молодых шестидесятников. Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Римма Казакова, Роберт Рождественский, Юнна Мориц, Станислав Куняев, Светлана Евсеева... Какие разные имена и судьбы! Евтушенко и Вознесенского в поздней зрелости С. Кузнецова называла литературными захватчиками, винила в гибели целого поэтического поколения. Выбившаяся в партийные лидеры и секретари Союза Римма Казакова сживала Светлану Кузнецову со света – слишком талантливой оказалась соперница. Бесконечно яркую первую книжку уехавшей в Минск и постепенно загибающейся там Светланы Евсеевой Кузнецова хранила до конца дней – и очень не любила погубившего Евсееву Самойлова. С большинством высыпающих на шумную эстраду поверхностных, полуграмотных, крикливых шестидесятников былинной русской сибирячке оказалось не по пути... Самими своими корнями, прочной культурой, данной в семье, она словно была ограждена от соблазнов времени, бесконечных волн псевдоноваторства, подхватывающих на гребень многих. Проблема цивилизации, сметающей культуру, когда-то предельно точно сформулированная Блоком, для судьбы Светланы Кузнецовой становилась краеугольной, хотя проблему культуры как отпадения от культа, обозначенную Флоренским, по условиям времени она до конца дней так и не осмыслила...

Переезд в Москву – обернулся утратой Сибири, корней. В творчество властно вошла тема великого кочевья атомного века: “Гвоздями избы старые забрили, / Пошли кочевьем по родной стране”. Эта великая свобода величиною с небо над головой буквально потрясла поэтессу: “Не привыкну, видать, никогда / К ощущенью великой свободы. / Где был дом наш, теперь лебеда, / А над нею небесные своды” (1970 г.). Московская свобода оказалась великой свободой атеистического века – от устоев, традиции, совести, правды, чести, родовых корней. Трагедия середины жизни – это уже трагедия потери разграбленной, потерпевшей экологическую катастрофу, исчезающей родины. Светлана Кузнецова воспринимает Сибирь как колонию России: “Где золото? Где лес наш? / Где меха? Все вывезли. / Мы только не нужны”. Новая Сибирь – это порубленная тайга, выбитое зверьё, недра, из которых выкачали нефть и газ, выбрали золото и руды. “Мне не только глядеть не полезно – / Чтобы выжить, не надо мне знать, / Как упрямо ложится железо / На сибирскую трудную гать” (1977 г.). За пятнадцать лет до повальной компьютеризации поэт интуитивно поднимает вопрос о полезности и вредности знания, информации – это предчувствие информационной катастрофы, а если уж говорить точнее,

воспоминание о будущей катастрофе. Ведь информационная катастрофа – по сути, первая катастрофа человека, отведавшего плода с Древа познания. **“Вспоминанием о будущем”** уходит под воды Иркутской ГЭС огромная территория детства вместе с кладбищем, на котором похоронен отец. Одной смерти для родного в наступивших временах мало – вслед за первой приходит вторая смерть, пожирающая могилы близких, память о них: *“Ушло под воду кладбище отцово, / Освободив для духа рубежи”*. Сознание Светланы Кузнецовой эсхатологично, поздняя Кузнецова – поэт вечно длящихся последних времен в том смысле, в каком понимал их П. Я. Чаадаев: *“Мысль Апокалипсиса есть беспредельный урок, применяющийся к каждой минуте вечного бытия”*.

После смерти матери Светлана Кузнецова осталась на белом свете одна. Тогда-то и обнаружилась главная врагиня в московской жизни – цепкая, хваткая, беспринципная Римма Казакова. Именно таких бесчисленных оборотней, фантомами возникающих на поверхности писательской жизни, Светлана Кузнецова назвала *“нечистью”* в знаменитом стихотворении *“Гадание Светланы”*. С более талантливой поэтической соперницей Казакова сражалась грязно и жестоко. Одна такая *“кровавая битва”* произошла во время писательской поездки на Сахалин. Поклонник Риммы Казаковой, Герой Советского Союза Василий Емельяненко, по наущению Казаковой, назвал Кузнецову проституткой, за что получил от Светланы пощёчину. В те времена дать пощёчину Герою Советского Союза было, мягко говоря... Светлане Кузнецовой пришлось срочно вылететь в Москву. Перепуганная случившимся, в ожидании публичной расправы она попыталась покончить собой. Божьим чудом осталась жива. Происшествие сказалось на будущей судьбе. Её прекратили печатать. Вытеснили из литературного пространства.

...А Казакова лезла в подруги... После смерти матери Светланы, в минуты абсолютно понятных упадка и черноты, прислала домой Кузнецовой своего знакомого психиатра – помочь выбраться из депрессии после похорон. Дальнейшее нашумело на всю Москву. *“Благодетельница”* объявила поэтессу сумасшедшей – своей волей секретаря Союза писателей СССР заставила главврача литфондовской поликлиники внести запись о шизофрении в карточку Светланы Кузнецовой... От серьёзных неприятностей спасли вставшие на защиту честные литераторы и то, что рядом со страшным диагнозом главврач своей рукой приписал: *“Запись сделана по звонку секретаря СП СССР Риммы Казаковой”*. ...После публичного скандала Казакову сняли с должности рабочего секретаря Союза писателей СССР...

Москва, огромный перенаселённый мегаполис, в творчестве С. Кузнецовой навсегда осталась городом-тупиком: *“Этот город-тупик под холодной звездой, / Этот город, где я не была молодой, / Этот город, который меня приютил, / Но ни силы, ни гордости мне не простил...”* (приблизительно 1986 г.). Перед нами словно возникают *“восставшие массы”* Ортеги-и-Гассета, вышедшая на проспекты городов и ставшая творцом истории безличная толпа. *“Зареклась: никого ни о чём не проси. / И сквозь долгие эти года / Я бродяжкой могла бы пойти по Руси, / Ибо та мне светила звезда”* (приблизительно 1986 г.). Светлана Кузнецова до конца дней настойчиво свидетельствует о лишённости судьбы, доли на родной земле. *“Русская профессия – изгнанник, / Мною не освоена досель, / Ибо не для Ванек, не для Манек / Нынче сладкий зов иных земель”*. О минувшей революции, о мире, разорённом великими катаклизмами XX века, поэтесса емко и ясно сказала в стихотворении *“Гвоздика”*, созданном в 1988 году. Стихотворение – яркий пример русской классики:

*Мечта толпы всегда багрянолика,
Как комсомолки ситцевый платок,
Как воплощенье вольности — гвоздика,
Бессменной революции цветок.*

*Толпа полна томительной отрады
Средь толчеи, зовущейся борьбой.
И я скольжу средь прочих вдоль ограды
С гвоздикою, вручённой мне судьбой.*

*Туда, где о любви моленья дики,
Где красный страх нисходит на меня,
Где умирают красные гвоздики
У временного Вечного огня.*

На первый взгляд — есть нечто беспомощное в попытке вместить гигантские социальные проблемы, порождённые опустошающей революцией, в чисто женское моление о любви, но, подумав, мы придём к выводу, что именно это определение оказывается всепоглощающе ёмким: любой, молящий о Любви, молит о Боге. Человеческое своеволие — уводит от Бога, потому Вечный огонь, зажжённый человеком, оказывается в стихотворении временным, сиюминутным. “Гвоздика” — не только размышление о минувшей революции, это ещё и пророчество о грядущей революции девяностых...

... Эта бьющаяся за жизнь, пытающаяся разомкнуть круг трагического одиночества женщина в чёрном в начале восьмидесятых буквально потрясала. Жила — в нереальном для советской эпохи мире. Комната практически в центре Москвы — оклеена тёмно-синими обоями. Старинная чёрная мебель с резьбой и золочёными амурами. Тёмно-синие занавески на окнах. В провале рукотворного мрака, как звёзды в колодце, — блестят россыпи антикварного серебра. В небольших чёрных нишах — коллекция колокольчиков для вызова прислуги. Чёрное платье. Чёрная шаль. Светлые волосы заколоты на затылке в тяжёлый узел. Особая, утерянная в нашем веке сибирская купеческая статья... И — вечный траур по неудавшейся судьбе, женской и поэтической. “Мной создан мир, прообраз смерти некий, / Где не слышны другие голоса...” Через страшную пытку небытием пришлось пройти многим поэтам XX века. О своей литературной непопулярности в одном из широкоизвестных писем свидетельствовала Ахматова: “Я оказалась довольно скоро на крайней правой (не политич.). Левее, следовательно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева...” Эта краткая и ёмкая запись Ахматовой многое объясняет в судьбе многих русских поэтов XX столетия, в том числе и в судьбе С. Кузнецовой.

Мир буквально выталкивал Светлану Кузнецову из себя в замкнутые стены чёрной квартиры. Странное это было существование. Собак новых не заводила. Потому что умирают. Цветов живых не покупала. Потому что вянут. В одну из первых встреч рассказала поразившую её историю: в московской квартире умер заброшенный, никому не нужный старик. Узнали о его смерти только через месяц, когда по подъезду пополз запах... Добавила тихо: “Вот и со мной так будет...” Ещё одна поразившая Кузнецову история не выходила из её головы до конца дней. Дети умершего писателя выбросили его архив на помойку. Всё, написанное человеком за жизнь, разносилось ветром по дворам — словно в назидание труженикам словесной нивы... По извечной привычке всё додумывать до конца, — пришла домой, уничтожила свой архив: “Архивы, уничтоженные в спешке, / Свидетели убийства и хулы...” (приблизительно 1988 г.) ... Так переплетались в Светлане Кузнецовой предельная открытость и беспощадность к себе, потеря веры и умение жить в самых трудных обстоятельствах, и — надрыв, надрыв, нескрываемый надрыв — от извечных русских униженности и оскорблённости. В одну из первых встреч я сказала ей осторожно: “Вы, Светлана Александровна, словно вышли из мира Достоевского. Есть в Вас какая-то часть Настасьи Филипповны”. Зарделась, довольная тем, что её хорошо поняли...

И всё же именно “пытка небытием” позволила Светлане Кузнецовой услышать себя, подняться на новый поэтический уровень. Преодолеваемое страдание заставило работать мысль, разорвало круг молодой лирической замкнутости. Две последние книги поэта — два предсмертных “Гадания Светланы” — стали одними из лучших поэтических книг восьмидесятых. Жестокий романс слился в них с напевами русских заговоров и пением сибирских выюг, полевые цветы событий и судеб, цветущие на обочинах века, заплелись в прекрасный “Русский венок”, а беспощадная честность по отношению к себе позволила С. Кузнецовой подняться до уровня большой поэзии. Прочитав первое “Гадание Светланы”, из Смоленска я отправила С. А. Кузнецовой письмо, в котором говорила, что поражена своим открытием и тем, что о ней никто ничего не знает, — в моём понимании она была поэтом уровня Цветае-

вой и Ахматовой. Почта принесла ответ: “Помнишь того горьковского писателя, который время от времени повторял: “Я цену себе знаю”? Не хотелось бы уподобляться ему, но придется. Так вот. “Цену” я себе тоже знаю, но так же знаю и всю свою неуместность и ненужность, да и что ещё можно было вынести после столь неудачно пройденного литературного пути?” (26.09.1983.). История с названием “Гадание Светланы”, на мой взгляд, получилась мистически тёмной и поэтически пророческой. “Жития по имени”, сформулированного Флоренским, в этом случае мало: лирическая героиня Светланы Кузнецовой словно бы попала внутрь жутковатой баллады Жуковского, слила себя с прославленной романтической героиней – странным образом заключила свою судьбу в чужой предрешённый круг...

Пожалуй, самый точный поэтический портрет поздней Светланы Кузнецовой в одном из лучших своих стихотворений начала восьмидесятых дала Татьяна Глушкова – её С. Кузнецова при знакомстве тоже поразила:

*Этот русский анапест, что плачет во имя любви,
В чёрной шали крест-накрест живёт не в эпохе, в крови.
А эпоха ему не соперница и не жена,
Ничего-то не ведает в лунах и струнах она.*

Первоначально на стихотворении стояло посвящение. Потом Т. Глушкова посвящение убрала – ведь в следующих строфах она говорила о себе, и только концовка – опять высветилась точным и метким портретом Светланы: “Эта мощь, эта слабость ужели для жизни дана? Наливай же, анапест, щербатую чашу вина!”... Эта мощь, эта слабость...

Среди мерцающего звёздами в черноте комнаты серебра – шёл пир, призванный скоротать сгущающуюся за окном ночь эпохи. Ночь перед крушением родины. Собственно, вся жизнь людей в умирающей стране превратилась в некое подобие платоновского пира, в бесконечный диалог понимающих друг друга собеседников с предстоящей чашей цикуты в конце. За столом – многочисленные друзья той поры – Анатолий Преловский, Татьяна Глушкова, Алла Марченко, Таиса Бондарь, Лидия Григорьева, Ирина Шевелёва, Инна Лиснянская... В последние годы – третий, обретенный перед смертью муж – Олег Алексеев. Разговоры – по большей части непринужденные, брызжущие искрометным юмором. Светлана Кузнецова была мастером хорошей литературной шутки. Часто говорила о непреодолимой бездне, которая лежит между москвичами и приехавшими в Москву провинциалами, раздумывала о судьбах послевоенных поколений, которые мало проявляли себя в литературе, как-то сказала: “Наверное, каждому литератору для того, чтобы состояться, нужна своя маленькая война...” Помню, как в первый раз она увидела по телевизору Горбачёва – была потрясена и его обликом, и его речью, и тёмным пятном в форме СССР, расплывающимся по черепу. Со свойственной ей магической пронизательностью с полувзгляда поняла и возненавидела пришедшего к власти предателя. Сказала: “Этот с Россией такое делает, чего раньше с ней никто не делал”. Очень остро переживала женофобию, царящую в русском лагере. Утверждала, что русские даже самых сильных поэтов гробят, а евреи даже самых слабых носят на руках. В пику Цветаевой и Ахматовой, а вместе с ними – и всем пишущим женщинам, согласным хором твердящим: “Я не поэтесса, я поэт!” – всегда повторяла: “Я не поэт, я поэтесса” – считала, что женщина и в поэзии должна оставаться женщиной.

А вот мы сидим и читаем вслух. Светлана Кузнецова достает любимые книги из чёрных с резными позолоченными амурами старинных книжных шкафов, просит читать. Читаем взахлёб – то Блока, то Георгия Иванова. В середине восьмидесятых Иванов – редкость. В СССР его не знает почти никто. Из любимого Блока Светлана Кузнецова стихотворение “дарит”. Есть у поэтов такой обычай – даже у классиков находить стихи, которые не разглядел никто, и “дарить” свои открытия литературным собратьям. Подарок Светланы Кузнецовой из Блока – прекрасное стихотворение “Усните спокойно, заморские гости, усните...” Среди любимых поэтов числила Корнилова, часто читала вслух его удивительную “Соловьиху”: “Перед ним вода – зелёная, живая, / Мимо заводей несется напролом, – / Он качается на ветке, прикрывая /

Соловьюху годовалую крылом”... Любила стихи Рубцова и гордилась тем, что училась на ВЛК в те же годы, когда тот учился в Литературном институте в тех же стенах. Постоянно восхищалась Юрием Кузнецовым.

...В чёрной своей комнате, в зыбкой своей судьбе Светлана Кузнецова разбрасывала красные карты на расстеленных сибирских мехах. Длилось гадание о любви. Но в порушенном мире – живёт порушенная любовь. Ранняя лирика С. Кузнецовой переполнена светлыми чувствами. В поздней любовной лирике традиционные мотивы подчёркиваются явными нотами жестокого романа. Собственно, то, что принято называть **любовной лирикой**, заменяется полной её противоположностью, – стихами о **нелюбви**, которые, на мой взгляд, сливать со стихами о любви просто ошибочно (я не имею в виду стихов о любовных драмах, неразделённой, трагической любви):

*Позабыв про холод и про нарты,
На придумку скорую легка,
Красные раскидываю карты,
Русского гадаю мужика.
Как ты ни раскидывай, однако,
На плетне всё так же виснет вновь
Красная немытая рубаха,
Русская напрасная любовь.*

Алый цвет висящей на плетне рубахи – совсем не тот алый цвет красоты и праздника, в который красили свои одежды деды. Это цвет крови, цвет душевного рубежа, цвет перейденной запретной грани. От любви в разрушенном мире веет “мелкой хитростью, мелкой лестью”. Всё слышнее мотивы старения, прощания с миром, прощания с любовью. Прекрасный жестокий романс “Крот”, в отличие от многих поздних стихов поэта о нелюбви, говорит о любви в извечном смысле этого слова, о любви-прощании, о любви-старении, о смерти, разлучающей любящие сердца. В стихотворении снова возникает красная рубаха. Цвет ее – совершенно откровенный цвет пролитой крови: “Милый, надень свою алую-алую, / Как из-под ножики – кровь”. Если в молодости сибирские реки втекали в вены поэтессы, питали ее душу, теперь истекающая из сосудов кровь питает мир, окрашивает округу в трагический цвет убывающей жизни и позднего заката: “Месяц окрасит всё тот же багрянец, / Что у нас вечен в крови, / Немолодой, некрасивый румянец / Ляжет на щёки твои...”

Вообще никакого другого способа выжить в литературе, кроме признания Юрия Кузнецова и Вадима Кожина, она не видела. Оттого и было таким трагичным и напряжённым ежедневное ожидание – почему не признают?.. Почему замалчивают?.. Вопрос о том, что думает о Светлане Кузнецовой В. В. Кожин, действительно стал ясен только после её смерти: “антологию” со стихами С. Кузнецовой в газете “День” в 1991 году Вадим Валерианович отобрал сам и очень быстро и охотно откликнулся на предложение написать предисловие: “...Признаюсь, что давно и не раз собирался я написать о поэзии Светланы Кузнецовой, да так и не собрался сделать это при ее жизни, – сетовал он. – А потом уже было поздно. И не проходит чувство вины, которое никак не облегчают эти сегодняшние слова... Поэзия Светланы Кузнецовой всё время находится как бы на самой грани жизни и смерти, не страшась, не трепеща перед этим уделом. А в бесстрашии – нет конца. Для поэзии эпохи окончательного упадка и гибели того или иного народа, той или иной культуры вовсе не характерно бесстрашие: такая поэзия склонна, напротив, прикрыть глаза, уйти в мир мечты, утопии, идиллии...” (“День”, № 23, 1991 г.)

Я не совсем понимаю, для чего Олегу Игнатьеву в его прекрасных воспоминаниях о Юрии Поликарповиче Кузнецове понадобилось зарывать в землю без того лишённую заслуженного признания поэтессу. “В ней слишком много кровей, противоречий... Татарско-польская-тунгусская-русская... В целом творчество её эскизное, черновое, чуть ли не графоманское, но последние стихи очень сильные... Каждый сильный талант знает себе цену”, – цитирует Игнатьев одно из высказываний Ю. П. Кузнецова. Не сомневаюсь в том, что критиковавший Пушкина и соревновавшийся с Данте Кузнецов претензии к поэзии С. Кузнецовой имел. И всё же многие поступки Юрия Поликарповича говорят о

том, что он хотел вытащить С. Кузнецову из небытия. На вечере в честь своего пятидесятилетия в огромном зале ЦДЛ заявил, что есть сегодня настоящая поэтесса – Светлана Кузнецова, не родственница, однофамилица. Для того чтобы ввести в литературный процесс имя Светланы Кузнецовой, написал статью в “Литературную газету”. Статья для женского уха сложная, не хочу делать вид, что разделяю точку зрения Ю. П. Кузнецова на женскую поэзию и женскую ложь, но Светлану Кузнецову в этой статье он поставил в один ряд с Цветаевой и Ахматовой. Два раза Юрий Поликарпович приходил домой к Кузнецовой – Светлана Александровна рассказала немного: спрашивал, не было ли каких-то знаков при её рождении, рассказал семейное предание о том, что появление поэта в его роду возвестила цыганка. Вытащил из кармана длинную бумажную ленту с записями (оказалось, что к встрече готовился специально и серьёзно), долго и подробно расспрашивал, как она написала то или иное стихотворение. После смерти Светланы Юрий Кузнецов вошёл в комиссию по литературному наследству поэтессы, составил подборку её стихотворений для “Нашего современника”, провёл вечер, посвящённый памяти поэтессы, в ЦДЛ. Марина Гах, как и Олег Игнатъев, учившаяся на ВЛК у Ю. П. Кузнецова, свидетельствует, что Юрий Поликарпович говорил: “Светлана Кузнецова – лучшая современная поэтесса” (“Наш современник”, № 11, 2004 г.).

Как и всякий поэт, обладающий магическим зрением и умеющий видеть будущее, Светлана Кузнецова остро чувствовала надвигающуюся катастрофу. Знаки рушащегося мира напоминали об исторических свойствах больших чисел, о катаклизмах, связанных со сменой столетий и тысячелетий: “Тысячелетие встретим, пируя на тризне, пересчитаем и взвесим тяжёлые числа”, – стихотворение, написанное примерно в 1987 году. Приблизительно в то же время создано одно из самых запредельных поздних стихотворений Светланы Кузнецовой “Мороженое”, порождённое страшными демографическими данными и страшным грядущим, замаячившим впереди:

*Ты этот миг обсаживай подоле,
Поскольку, шутки скользкие шутя,
Расеюшка в кримпленовом подоле
Баюкает мутантное дитя.
Баюкает нежданное, но роженое,
Баюкает кровиночку и кровь.
И таёт, таёт на губах мороженое,
Последняя народная любовь.*

Катастрофа конца века для С. Кузнецовой – только продолжение катастрофы, начавшейся в семнадцатом году. Катастрофы длиной в столетие, завершающее русское тысячелетие. Потому-то и “Расеюшка” баюкает в подоле странное, порождённое вредными информационными полями разрушенного мира мутантное дитя, никак не могущее быть наследником умерших дедов. Мир накануне третьего тысячелетия разрушен на уровне неприкосновенных генов, обеспечивающих существование человеческого рода. . . В небесах ожидающей неизбежной участи земли летит “Крылья раскинувший демон / Над атомной белой страной”, на проспектах шумной, потерявшей разум столицы стоит с безучастным взором мальчик, одурманенный наркотическими маковыми парами. Перед нами – не просто признаки грядущего Апокалипсиса. Это Апокалипсис, длящийся здесь и сейчас. Особенно ужасает поэтессу предельная разруха русских деревень. Она поражает ум, возмущает сердце.

*Горький ветер касается губ.
Что мне боль мимолётной потравы,
Коль в деревне Кудяево клуб
Оплели узловатые травы.
Что мне зовы дурманной судьбы
В одиночества полной столице,
Если в клубе том сонном грибы
Проросли через щель в половице.
.....
А на кладбище, там, над водой,
Где закат умирает, пылая,*

*Под крестом ли, под красной звездой
Похоронена слава былая...*

Если деревенская изба, возникающая в стихах у Клюева, — всегда модель живого мироздания, то разрушенный деревенский дом Светланы Кузнецовой — модель мироздания умирающего, разорённого человеком. Не случайно в стихах возникает образ затонувшей подлодки — образ угрожающего будущему, убитого и затонувшего до времени прошлого. На этот гниющий дом с атомным реактором изломанных судеб и загубленных душ, несущий в себе информацию о порушенном мироздании, может напороться идущий в ночи времён крейсер под названием “Россия”: “Раскрошились в русской печи кирпичи. / Затянуло окошки льдом. / Затонувшей подлодкой лежит в ночи / Деревенский брошенный дом” (стихотворение написано примерно в 1987 г.).

Светлана Кузнецова умерла 30 сентября 1988 года, в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Когда пришло известие о её смерти, стало очевидно, что ни в какой другой день года Светлана Кузнецова умереть не могла — так как глубинной сутью её природы были Вера, Надежда, Любовь и Премудрость Божья, не разменянные на пустопорожние сложности человеческого мудрования. И это — несмотря на бесконечные, частью судьбы ставшие самоубийства, мрак стихов, внешнюю черноту коммат и одежд.

Смерть свою Кузнецова предсказала загодя, как это часто случается с настоящими поэтами. Ещё в 1968 году, то есть ровно за двадцать лет до кончины, написала стихотворение “Тридцатое сентября”. Помню, как я спрашивала её об этом стихотворении. В ответ Светлана пожала плечами — нет, ничего особого не произошло, написалось — и всё: “Я дню такому рада, / Как дорогой обнове. / Мне за печаль награда / День именин Любви. / День именин Надежды, / Осенняя пора. / Я в светлые одежды / Наряжена с утра. / Другьям прощая вины, / Я счастлива без меры. / Сегодня именины / Моей последней Веры”. И только после смерти поэтессы строчки приобрели особый, мистический, тайный смысл...

Таковы краткие заметки о жизни и смерти большого русского поэта, нищей наследницы двух богатых сибирских родов, Светланы Александровны Кузнецовой, по обычаям золотоносной земли драгоценным самородком вышедшей из неиссякающих древних недр, золотым самородком вернувшейся в землю огромного Отечества накануне катастрофы.

*Оплачен мой счёт и оплакана доля.
Сибирская тройка умчалась, спеша.
Огромность родного осеннего поля
Теперь только может осилить душа.
И то не осилит. По краешку муки,
Как ведьма, пройдёт, заклинанья творя.
Но знаю: за миг до последней разлуки
Над ней ослепительно вспыхнет заря.
Что я призову у последнего крова,
На самом последнем из смертных кругов?
Лишь чёрную магию русского слова.
Лишь белую магию русских снегов.*

Предельно ясная и чёткая по натуре Светлана Кузнецова оказалась одним из сложнейших поэтов конца XX века. По природе лирик — она подняла важнейшую публицистическую тему гибнущего отечества, чуждая философии — встала в рост с важнейшими философскими проблемами века, по-женски беззащитная, обернулась поэтом значительным и волевым. Глядя на снег, летящий за уносящейся в безоглядные дали сибирской тройкой, напоследок хочу заметить, что литературное наследие, оставленное поэтессой, невелико — после тщательного отбора сложится совсем небольшая книжечка первоклассных избранных стихотворений. И всё же спасти С. Кузнецову от забвения и дать ей полноценную жизнь в русской литературе мы должны, ибо удельный вес этой небольшой книги не только тяжелее “премногих томов”, полнящих наши библиотеки, — при внимательном исследовании вопроса он окажется равен удельному весу чистого золота.